

VI. Убийство Распутина.

Воскресенье, 5 ноября.

Сегодня я смотрю в Мариинском театре серию очаровательных балетов: Египетские ночи, Исламей, Эрос. Вся публика как бы зачарована этими восхитительными феериями, этими фантастическими и сладострастными приключениями, этими таинственными и волшебными декорациями.

В один из антрактов я отправляюсь выкурить папиросу в вестибюль ложи министра Двора. Я застаю здесь генерала В..., которого его обязанности заставляют быть в ежедневном контакте с петроградским гарнизоном. Так как я недавно имел случай оказать ему услугу и знаю, что он одушевлен самыми патристическими чувствами, я спрашиваю его:

— Верно ли, что петроградские войска серьезно заражены революционной пропагандой, и что подумывают даже отправить большую часть гарнизона на фронт, чтоб заменить ее надежными полками?

После нескольких мгновений колебания он отвечает мне голосом, в котором слышится искренность:

— Это правда; дух петроградского гарнизона нехорош. Это видно было восемь дней тому назад, когда произошли беспорядки на Выборгской Стороне. Но я не думаю, чтоб имели, как вы говорите, намерение

отправить на фронт плохие полки и заменить их надежными единицами... По моему мнению, давно уже следовало бы произвести чистку в войсках, охраняющих столицу. Во-первых, их слишком много. Знаете ли вы, господин посол, что в Петрограде и окрестностях, т.-е. в Царском Селе, Павловске, Гатчине, Красном Селе и Петергофе расквартировано не меньше 240.000 человек. Они почти не маневрируют; ими плохо командуют; они скучают и развращаются; они служат лишь для пополнения кадров и доставления рекрутов анархии. Следовало бы оставить в Петрограде лишь тысяч сорок человек, отобранных из лучших элементов гвардии и 20.000 казаков. С этим отборным гарнизоном можно было бы парировать все события. Не то..

Он останавливается, губы его дрожат, лицо очень взволновано. Я дружески настаиваю, чтобы он продолжал. Он сурово продолжает:

— Если бог не избавит нас от революции, ее произведет не народ, а армия.

Вторник, 21 ноября.

Занятие тайными науками всегда было в почете у русских; со времени Сведенборга и баронессы Крюденер, все спириты и иллюминаты, все магнетизеры и гадалки, все жрецы изотеризма и чудотворцы встречали радужный прием на берегах Невы.

В 1902 г., воскреситель французского герметизма, маг Папюс, настоящая фамилия которого — д-р Анкосе, приехал в Петроград, где он скоро нашел усердных поклонников. В последующие годы его здесь видели неоднократно во время пребывания его большого друга анахара Филиппа из Лиона; император и императрица

почтили его своим полным доверием; последний его приезд относится к февралю 1906 г.

И рот газеты, дошедшие к нам недавно через скандинавские страны из Франции, содержат известие о том, что Папюс умер 26 октября.

Признаюсь, эта новость ни на одно мгновение не остановила моего внимания; но она, говорят, повергла в уныние лиц, знавших некогда „духовного учителя“, как называли его между собой его восторженные ученики.

Г-жа Р., являющаяся одновременно последовательницей спиритизма и поклонницей Распутина, объясняет мне это уныние странным пророчеством, которое стоит отметить: смерть Папюса предвещает не больше и не меньше, как близость гибели царизма, и вот почему:

В начале октября 1905 г. Папюс был вызван в Санкт-Петербург несколькими высокопоставленными последователями, очень нуждавшимися в его совете в виду страшного кризиса, который переживала в то время Россия. Поражения в Манчжурии вызвали повсеместно в империи революционные волнения, кровопролитные стачки, грабежи, убийства, пожары. Император пребывал в жестокой тревоге, будучи не в состоянии выбрать между противоречивыми и пристрастными советами, которыми ежедневно терзали его семья и министры, приближенные, генералы и весь его Двор. Одни доказывали ему, что он не имеет права отказаться от самодержавия его предков и убеждали не останавливаться перед неизбежными жестокостями беспощадной реакции; другие заклинали его уступить требованиям времени и лояльно установить конституционный режим.

В тот самый день, когда Папюс прибыл в Санкт-Петербург, Москва была терроризована восстанием, а

какая-то таинственная организация об'явила всеобщую железнодорожную забастовку.

Маг был немедленно приглашен в Царское Село. После краткой беседы с царем и царицей, он на следующий день устроил торжественную церемонию колдовства и вызывания духов усопших. Кроме царя и царицы, на этой тайной литургии присутствовало одно только лицо: молодой ад'ютант императора, капитан Мандрыгга, теперь генерал-майор и губернатор Тифлиса. Интенсивным сосредоточением своей воли, изумительной экзальтацией своего флюидического динамизма духовному учителю удалось вызвать дух благочестивейшего царя Александра III; несомненные признаки свидетельствовали о присутствии невидимой тени.

Несмотря на сжимавшую его сердце жуть, Николай II задал отцу вопрос, должен он или не должен бороться с либеральными течениями, грозившими увлечь Россию. Дух ответил:

„Ты должен во что бы то ни стало подавить начинающуюся революцию; но она еще возродится и будет тем сильнее, чем суровее должна быть репрессия теперь. Что бы ни случилось, бодрись, мой сын. Не прекращай борьбы“.

Изумленные царь и царица еще ломали голову над этим зловещим предсказанием, когда Цапюс заявил, что его логическая сила дает ему возможность предотвратить предсказанную катастрофу, но что действие его заклинания прекратится, лишь только он сам исчезнет „с физического плана“. Затем он торжественно совершил ритуал заклинания.

И вот с 26 октября маг Папюс исчез „с физического плана“, и действие его заклинания прекратилось. Значит—скоро революция!..

Простившись с г-жей Р., я возвращаюсь к себе в посольство и открываю „Одиссею“ на XI песне, на знаменитом эпизоде *vékha* (жертвоприношение усопшим для того, чтобы вы звать их из подземного царства). Под влиянием только-что выслушанного рассказа, эта великолепная сцена из жизни первобытного человечества, эта мрачная и варварская фантазмагория представляется такой же естественной и правдивой, как если бы она происходила вчера. Я вижу, как Улисс в туманной стране Киммерийн приносит жертву усопшим, копает землю мечом, совершает возлияние из вина и молока, затем над краем ямы перерезывает горло черному барану. И поднявшиеся из Эреба тени толпой бросаются пить текущую ручьями кровь. Но царь Итаки с силой отталкивает их, ибо единственная душа, появления которой он ждет—душа его матери, достопочтенной Антиклей, которая откроет ему будущее при посредстве гадателя Тиресия... И я вспоминаю, что от Улисса до Николая II, от гадателя Тиресия до мага Папюса прошло только тридцать столетий.

Понедельник, 20 ноября.

Вчера сербы заняли Монастырь; это было в годовщину их вступления в этот город в 1912 г.

Император Франц-Иосиф находится в агонии.

Вторник, 21 ноября.

Штюрмер неожиданно выехал вчера в Могилев по вызову царя.

Среда, 22 ноября.

Франц-Иосиф I, император австрийский, апостолический король венгерский, король богемский, далматский, кроатский, славянский, иллирийский и галицийский, король иерусалимский и пр., умер на девяносто седьмом году от роду.

Об этом едва говорят, как о факте незначительном, — настолько настоящая действительность превосходит все последствия, которые предвидели когда-то, когда пророчили о кончине старого императора...

Мне некогда писать ему надгробное слово. Но для оценки его царствования мне достаточно вспомнить ужасный отзыв его предшественника, Фердинанда I-го, которого заставили отречься от престола в 1848 г., после чего он жил на покое в Праге до 1875 г. Вскоре после битвы при Садовой, припомнив поражения 1859 г. и потерю Ломбардии, видя затем Австрию окончательно исключенной из союза немецких государств и вынужденной уступить Венецианскую область, свергнутый старик-монарх воскликнул: „Но за что же меня прогнали в 1848 г.? Я способен был бы не менее моего племянника проигрывать сражения и терять провинции“.

Четверг, 23 ноября.

Сегодня вечером, в десять часов, в то время, как я работал один в своей квартире, один из моих осведомителей, очень надежный, прислал мне следующую записку:

„Я не хочу ждать до завтра, чтоб сообщать вашему превосходительству крупную новость: г. Штюмер ушел в отставку и заменен на посту председателя совета министров г. Треповым“.

Новость приводит меня в восхищение, но не захватывает меня врасплох. Расставшись с Штюмером, император лишний раз доказал, что он способен на превосходные решения, когда освобождается из-под влияния императрицы.

Пятница, 24 ноября.

Отставка Штюмера официально объявлена сегодня утром. Трепов заменяет его на посту председателя совета министров; новый министр иностранных дел еще не назначен. С точки зрения военной, которая должна преобладать над всякими другими соображениями, назначение Трепова доставляет мне большое облегчение. Во-первых, заслуга Трепова в том, что он не терпит Германии. Его пребывание во главе правительства, значит, гарантирует нам, что Союз будет лояльно соблюдаться и что германские интриги не будут больше так свободно развиваться. Кроме того, он — человек энергичный, умный и методичный; его влияние на различные ведомства может быть только превосходным.

Другая новость: генерал Алексеев получил отпуск. Временно исполнять его обязанности будет генерал Василий Гурко, сын фельдмаршала, бывшего героя перехода через Балканы.

Отставка генерала Алексеева мотивирована состоянием его здоровья. Правда, генерал страдает внутренней болезнью, которая заставит его в ближайшем будущем подвергнуться операции; но есть, кроме того, и политический мотив: император решил, что его начальник главного штаба слишком открыто выступал против Штюмера и Протопопова.

Вернется ли генерал Алексеев в Ставку? Не знаю. Если его уход является окончательным, я охотно при-

мирюсь с этим. Правда, он всем внушает уважение своим патриотизмом, своей энергией, своей щепетильной честностью, своей редкой работоспособностью. К несчастью, ему не доставало других, не менее необходимых качеств: я имею в виду широту взгляда, более высокое понимание значения Союза, полное и синтетическое представление о всех театрах военных операций. Он замкнулся исключительно в функции начальника генерального штаба высшего командования русских войск. По правде сказать, миссию, высокую важность которой недостаточно понял генерал Алексеев, должен был бы взять на себя император; но император понимал это еще меньше, в особенности с того дня, как единственным истолкователем Союза при нем сделался Штюрмер.

Генерал Гурко, заменивший ген. Алексеева, — деятельный, блестящий, гибкий ум; но он, говорят, легкомыслен и лишен авторитета.

Сегодня я обедаю в Café de Paris с несколькими друзьями. Опала Штюрмера радостно комментируется всеми присутствующими; на Трепова возлагают большие надежды, учитывают наперед могучее и близкое пробуждение национального сознания. Один только Б. молчит. К нему пристают с вопросами. Он отделяется обычными сарказмами.

— Впредь ничто не остановит победного шествия наших войск!... На Рождестве мы вступим в Константинополь!... Не пройдет трех месяцев, как мы будем в Берлине!... Особенно приводит меня в восхищение Константинополь, потому что, между нами, все мы несколько забыли завещание Петра Великого, св. Софию и пр.

После обеда я увожу Б. в своем автомобиле к одной из наших знакомых, которая живет на Адмиралтейском канале, и спрашиваю его:

— Теперь скажите мне серьезно... Ваше мнение об отставке Штюмера.

Он минуту подумал, потом очень серьезно сказал:

— Господин Штюмер—великий гражданин, старавшийся удержать свою родину на роковой наклонной плоскости, до которой ее безумно довели и в конце которой ее ожидают поражение, позор, гибель и революция.

— Вы в самом деле такой пессимист?

— Мы погибли, господин посол.

Понедельник, 27 ноября.

Не знаю, кто сказал о Цезаре, что у него „все пороки и ни одного недостатка“. У Николая II нет ни одного порока, но у него наихудший для самодержавного монарха недостаток: отсутствие личности. Он всегда подчиняется. Его волю обходят, обманывают или подавляют; она никогда не импонирует прямым и самостоятельным актом. В этом отношении у него много черт сходства с Людовиком XV, у которого сознание своей природной слабости поддерживало постоянный страх быть поработленным. Отсюда у того и другого в равной степени наклонность к скрытности.

Вторник, 28 ноября.

У меня собралось сегодня вечером за обедом человек тридцать... За столом разговоры туго завязываются и скоро обрываются. Тембру голосов недостает ясности, и самый воздух, которым дышат, как будто отяжелел.

Дело в том, что со всех сторон плохие новости. В-первых, по городу ходят слухи о забастовке, а ежедневное вздорожание продовольствия вызвало бурные сцены на рынках. Далее, в Румынии германско-болгарские клещи зажали Бухарест; Дунай перейден в Зимнице и Досенкурджеве; линия Ольты прорвана; Камполунги и Пипашты в руках неприятеля; королевское правительство поспешно спасается в Яссы.

С легкостью, с какой русские приходят в уныние, предвидят всегда наихудшие катастрофы и упреждают, так сказать, приговоры судьбы, мои гости учитывают уже появление австро-германцев на Пруте, потерю Бессарабии и Подолии, взятие Киева и Одессы. Я протестую, как могу, против этих зловещих предсказаний, наперед парализующих дух сопротивления, исключая а priori возможность успеха, объявляя неосуществимым то, что лишь сомнительно; я развиваю тему, которую дает мне эта прекрасная мысль Ла Рамфука: „У нас всегда хватало бы, если б хватало воли, и часто мы воображаем что-нибудь невозможное, для того, чтоб себя извинить“.

Среда, 29 ноября.

Трепов, которого, конечно, нельзя подозревать в снисходительном отношении к Думе или робости перед ней, признает невозможность работать с Протопоповым, обнаруживающим с каждым днем все более явные признаки умственного расстройства.

Принятый третьего дня в Могилеве императором, он умолял его назначить другого министра внутренних дел, напоминая его величеству, что ставил существованием условием для своего согласия принять пост председателя совета министров отставку Протопопова.

Но императрица, которая находится еще в императорской Главной Квартире и бодрствует, предвидела этот удар. И император, надлежащим образом настроенный, ответил Трепову, что он рассчитывает на его лойальность для того, чтоб облегчить задачу Протопопова. Твердо и почтительно Трепов повторил свои настояния. Император остался непоколебимым.

— В таком случае, — продолжал Трепов, — мне остается просить ваше величество принять мою отставку. Моя совесть не позволяет мне принять на себя ответственность за власть, пока Протопопов сохраняет портфель министра внутренних дел.

После минутного колебания император властно заявил:

— Александр Федорович, я приказываю вам продолжать исполнять ваши обязанности с теми сотрудниками, которых я счел долгом дать вам.

Трепов вышел, закусив губы.

Четверг, 30 ноября.

По моему предложению, Трепов награжден званием командора ордена Почетного Легиона. Я тотчас отправляюсь к нему об'явить ему об этом.

— Правительство Республики, — говорю я, — хотело таким образом признать выдающуюся услугу, оказанную вами Союзу тем, что вы так активно повели постройку Мурманской железной дороги; оно хотело, кроме того, засвидетельствовать доверие, которое оно питает к вам, в виду трудных обстоятельств, при которых вы берете власть.

Он, повидимому, очень тронут. Я верю его искренности, так как он всегда любил Францию, где он долго жил.

Затем мы говорим о делах.

Не входя в подробности своей размовки с императором и препятствий, которые он встречается со стороны Думы, он заявляет мне, что послезавтра он отправится в Таврический дворец и сейчас же возьмет слово. Вот главные пункты, которых он коснется в своей речи: 1) война до конца, Россия не отступит ни пред какой жертвой; 2) декларация о Константинополе и проливах; обещание защищать интересы Румынии; 3) подтверждение того, что Польша будет восстановлена в своих этнических границах и образует автономное государство; 4) торжественный призыв к Думе работать вместе с правительством для доведения войны до благополучного конца.

В заключение Трепов говорит:

Я надеюсь, что Дума окажет мне надлежащий прием. Но я в этом не уверен... Вы отгадываете почему и из-за кого...

Далее он объясняет мне, что Дума решила не поддерживать никаких сношений с Протопоповым, освистать его и прервать заседание, если он войдет в залу, и пр. Я спрашиваю:

— Неужели император, имевший мудрость отставить Штюмера, не понимает, что оставление у власти Протопопова становится общественной, национальной опасностью?

— Император слишком рассудителен, чтоб не отдавать себе в этом отчета. Но вот императрицу следовало бы убедить. А в этом вопросе с ней сговориться невозможно.

Помолчав, он продолжает тихо, как будто говорит сам с собой:

— Для России наступил решительный момент. Если мы будем продолжать идти тем же аллюром, немецкая партия скоро возьмет верх. А тогда катастрофа, революция, позор... Надо положить конец всем этим интригам, и радикально... Надо, чтобы правительство произнесло безвозвратные слова, которые связали бы все будущие правительства перед лицом России, перед лицом мира... Послезавтра в Думе правительство безвозвратно обяжется продолжать войну до разгрома Германии; оно сожжет за собой все мосты.

— С каким удовольствием я вас слушаю!

Пятница, 1 декабря.

Штюрмер так удручен своей опалой, что покинул министерство иностранных дел, не простившись с союзными послами, не оставив даже карточки. Знаменательная некорректность со стороны такого традиционного и церемонного человека!

Сегодня днем, проезжая вдоль Мойки на автомобиле, я замечаю его у придворных конюшен: он с трудом подвигается пешком против ветра и снега, сторбив спину, устремив взгляд на землю, с лицом мрачным и расстроенным. Он меня не видит, он ничего не видит. Сходя с тротуара, чтоб перейти набережную, он чуть не падает.

Суббота, 2 декабря.

Был сегодня днем на заседании Думы.

Лишь только в дверях зала показались министры и среди них Протопопов, подымается шум.

Трепов поднимается на трибуну, чтоб прочитать декларацию правительства. Крики становятся сильнее: „Долой министров! Долой Протопопова!“

Очень спокойный, с прямым и надменным взглядом, Трепов начинает свое чтение. Три раза крики крайней левой вынуждают его покидать трибуну.

Наконец, ему дают говорить.

Декларация именно такова, как он излагал мне ее позавчера.

Место, в котором правительство подтверждает свое решение продолжать войну, встречается горячими аплодисментами.

Но фраза, относящаяся к Константинополю, падает в пустоту, образованную индифферентностью и удивлением.

После того, как Трепов кончил чтение, заседание было прервано. Депутаты рассеиваются по кулуарам. Я возвращаюсь в посольство.

Мне сообщают, что вечернее продолжение заседания было отмечено двумя речами, столь же неожиданными, сколь и резкими, двух лидеров правой, графа Владимира Бобринского и Пуришкевича. К изумлению своих политических единомышленников, они произвели стремительную вылазку против „позорящих и губящих Россию темных сил“. Пуришкевич воскликнул даже:

„Надо, чтоб впредь недостаточно было рекомендации Распутина для назначения гнуснейших лиц на самые высокие посты. Распутин в настоящее время опаснее, чем был некогда Лже-Димитрий... Господа министры! Если вы истинные патриоты, поезжайте в Ставку, бросьтесь к ногам царя, имейте мужество заявить ему, что так не может дольше длиться, что слышен гул народного гнева, что грозит революция, и темный мужик не должен дольше управлять Россией“.

Воскресенье, 3 декабря.

Положение Трепова весьма деликатное. С одной стороны, он понимает невозможность управлять или, вернее, проводить лойяльную политику Алианса, пока управление общественным мнением и силами полиции остается в руках Протопопова. С другой стороны, усердно отстаивая легальный статут империи, он отрицает за Думой право вмешиваться в прерогативы верховной власти, из которых одной из важнейших является, несомненно, выбор министров.

Таким образом, конфликт правительства и Думы чреват еще одним прискорбным инцидентом.

Понедельник, 4 декабря.

Слова министерской декларации, относящиеся к Константинополю, вызвали и в публике не больше отклика, чем в Думе. Такой же эффект индифферентности и удивления, как если бы Трепов откопал старую утопию, некогда дорогую и с тех пор давно забытую!..

Вот уже несколько месяцев я наблюдаю в народной душе это прогрессивное выцветание византийской мечты. Очарование прошло.

Охладеть к своим мечтам; бросить то, к чему стремился, чего жаждал с величайшим пылом; чувствовать даже известного рода горькую и едкую радость, констатируя свое заблуждение и разочарование—как это по-русски!

Г-жа П. говорит мне сегодня вечером:

— Декларация правительства нелепа. Никто больше не думает о Константинополе. Это было прекрасное безумие, но безумие. А вылечившись от какого-нибудь безумия, его больше не повторяют; делают но-

вое безумие... Трепов и все те, кто пытается оживить в русском народе мечту о Константинополе, напоминает мне тех мужчин, которые думают разбудить любовь женщины, предлагая ей вновь пережить воспоминания прошлого. Сколько бы они ни напоминали, как это было восхитительно в Венеции, ночью, при свете луны, в гондоле—их даже не слушают...

Четверг, 7 декабря.

Австро-германцы и болгары вступили вчера в Бухарест.

Румыны дорого платятся за свои ошибки вначале. Между тем, не надо было быть ни великим стратегом, ни великим пророком, чтоб предвидеть, что настоящая катастрофа заключена была в непризнании конвенции Рудеану.

Стратегическая виртуозность Гинденбурга реализовала свой шедевр.

Если всегда главной целью немецкого империализма была гегемония на Востоке, у него теперь в руках все козыри...

Суббота, 9 декабря.

Тревожный призыв, раздавшийся в Думе из уст графа Бобринского и Пуришкевича, этих двух паладинов неограниченного самодержавия, огласил даже архаическую цитадель абсолютного монархизма, Государственный Совет ¹⁾.

Высокое собрание осмелилось сегодня выразить пожелание, в котором предостерегает царя против гибель-

¹⁾ Государственный Совет состоит из 192 членов, из которых половина назначается непосредственно царем, а другая половина избирается духовенством, земствами, дворянством, крупными собственниками, торговыми палатами и университетами. *Примечание М. Паллола.*

ного действия закулисных влияний. Это (столь робкое) заявление протеста вызывает оживленные комментарии.

История представляет лишь длинный ряд повторений. В марте 1830 г. Парижская Палата Депутатов тоже довела до сведения Карла X почтительный совет благоразумия. Но воспользовался ли кто-либо когда-либо уроками истории?..

Воскресенье, 10 декабря.

Что политику России делает камарилья императрицы, факт несомненный. Но кто руководит самой этой камарильей? От кого получает она программу и направление?

Конечно, не от императрицы. Публика любит простые идеи и общие олицетворения и не имеет точного представления о роли царицы; поэтому она расширяет эту роль и в значительной степени ее искажает. Александра Федоровна слишком импульсивна, слишком заблуждается, слишком неуравновешена, чтобы создать политическую систему и следить за ее проведением. Она является главным и всемогущим орудием заговора, который я постоянно чувствую вокруг нее: однако, она не более, как орудие.

Точно также лица, группирующиеся вокруг нее: Распутин, Вырубова, генерал Воейков, Танеев, Штюмер, князь Андронников и пр., — лишь подручные, статисты, подобострастные интриганы или марионетки. Министр внутренних дел Протопопов, производящий более внушительное впечатление, обязан этой обманчивой внешностью раздражению мозговых оболочек. За его экспансивным фанфаронством и суетливой активностью нет ничего, кроме раздражения спинного мозга. Это мономан, которого скоро отправят в дом для умалишенных.

Кто же, в таком случае, руководит царскосельской камарильей?

Я тщетно расспрашиваю тех, кто, казалось, наиболее способны были бы удовлетворить мое любопытство, и получаю лишь неопределенные или противоречивые ответы, гипотезы, предположения.

Если б я, тем не менее, принужден был сделать выводы, я сказал бы, что пагубная политика, за которую императрица и ее партия будут нести ответственность перед историей, внушается им четырьмя лицами: это — лидер крайней правой в государственном совете Щегловитов; петроградский митрополит, преосвященный Пий-тирим; бывший директор департамента полиции Белецкий, и, наконец, банкир Манус.

Вне этих четырех лиц я вижу лишь игру сил анонимных, коллективных, разбросанных, подчас бессознательных, которые выражают, может быть, исключительно вековое действие царизма, его инстинкт самосохранения, всю органическую жизненность, которая еще остается в нем.

В этом квартете я приписываю особую роль банкиру Манусу: он обеспечивает сношения с Берлином. Это через него Германия заводит и поддерживает свои интриги в русском обществе; он является распределителем германских субсидий.

Среда, 13 декабря.

Вчера Германия вручила Северо-Американским Соединенным Штатам ноту, в которой она от имени своего и своих союзников заявляет о своей готовности начать немедленно переговоры о мире. В подтверждение этого торжественного заявления не указано никакого условия.

С первого же взгляда эта нота представляется стра-

тегической уловкой, западней, предназначенной вызвать в лагере врагов пацифистское движение и ослабить нашу коалицию. Пусть Германия сначала сообщит нам, каковы ее планы, на какие репарации она готова согласиться, какие она предлагает нам гарантии, и мы отнесемся серьезно к ее предложению.

Сильно страдая от приступа ревматизма, удерживающего меня в постели, я принимаю визит Бьюкенена и Карлотти. Мы все трое одного мнения.

Четверг, 14 декабря.

Император вверил портфель министра иностранных дел государственному контролеру, Николаю Николаевичу Покровскому.

Выбор неожиданный. Покровскому шестьдесят лет; он всю жизнь занят был вопросами, касающимися финансов и государственного контроля; у него нет никакого представления о делах внешних и дипломатии; но, с этой оговоркой, очень важной в настоящий момент, я ничего не имею против его назначения. Во-первых, это—человек осторожный, умный и трудолюбивый, вполне преданный Альянсу. Затем в личных отношениях это—человек редких качеств, душевный и скромный, с небольшой долей насмешливого лукавства. Без состояния, обремененный семьей, он ведет жизнь самую простую, самую приличную. За тридцать пять лет, с тех пор, как он служит в государственном контроле, его никогда не коснулась даже тень подозрения.

Пятница, 15 декабря.

Вступая в отправление своих обязанностей, Покровский произнес сегодня в Думе в самом непоколебимом

тоне речь, в которой доказывал иллюзорный и предательский характер немецкого предложения: „Державы Антанты, сказал он, заявляют о своей непоколебимой воле продолжать войну до окончательной победы. Наши бесчисленные жертвы оказались бы напрасными, если бы мы заключили преждевременный мир с противником, истощенным, но еще не побежденным“.

Эти слова, представляющие такой счастливый контраст с двусмысленным и лукавым языком Штюрмера, произвели сильное впечатление на Думу; важно было произнести их, чтобы уничтожить эффект немецкой инициативы.

Я все еще вынужден не покидать постели и у меня не было недостатка в визитах. Со всех сторон до меня доходит одна и та же нота: „Очень важный результат составляет уже один тот факт, что вопрос о мире поставлен перед общественным мнением. Умы, таким образом, постепенно готовятся к благогазумным решениям“.

Суббота, 16 декабря.

Покровский был у меня сегодня днем.

Я поздравляю его с твердым и откровенным заявлением, которое он сделал вчера в Думе.

— Я точно сообразовался, — ответил он, — с приказами его величества императора, с которым я имею честь быть вполне согласным во взглядах. Его величество решил не позволять больше сомневаться в его воле, которая вам известна; император дал мне на этот счет самые категорические инструкции; он даже поручил мне представить ему без замедления проект манифеста, оповещающего армию о том, что Германия просит мира.

Затем мы заговорили об ответе, который надо будет дать на ноту германской коалиции. Не установив еще своего мнения на этот счет, Покровский полагает, что военное положение, или как говорят немцы, „карта войны“ не позволяет нам еще точно выразить наши требования и что мы поступим благоразумно, если будем держаться общих терминов, как „материальные и моральные возмещения...“, политические и экономические гарантии“ и пр.

Понедельник, 18 декабря.

Б., наблюдающий довольно близко рабочее движение, обращает мое внимание на возрастающую тенденцию вождей социалистических групп освободиться от контроля Думы и организовать свою программу действия вне легальных рамок. Чхендзе и Керенский повторяют: „Кадеты не имеют никакого представления о пролетариате. Из ничего ничего не сделаешь“.

В настоящее время эти вожди главные усилия своей пропаганды направляют на армию, доказывая ей, что в ее интересах вступить в союз с рабочими, чтоб обеспечить крестьянству, представительницей которого она является, торжество его аграрных требований. В казармах в изобилии распространяются брошюры на классическую тему: „Земля принадлежит трудящимся. Она возвращается им по праву и, следовательно, без выкупа; не выкупается собственность, которая была отнята. Только революция может совершить эту великую социальную реформу“.

Я спрашиваю Б., имеет ли тенденция распространяться в армии „пораженческая“ теория знаменитого Ленина, нашедшего убежище в Женеве.

— Нет,— говорит он мне,— эта теория поддерживается здесь лишь несколькими неистовыми, которых считают подкупленными Германией... или „охранкой“. Пораженцы, как их называют, составляют лишь самое незначительное меньшинство в социал-демократической партии.

Между Маасом и Вевр французы перешли 14 декабря в сильное наступление. Германский фронт был отодвинут на расстоянии 10 километров на 3 километра вглубь. Число пленных около 12.000.

Четверг, 21 декабря.

Ежедневно два-три раза Протопопов просит аудиенции у царицы под тем предлогом, будто должен сделать ей доклад и просить ее советов.

На днях, едва войдя к ней, он бросился перед ней на колени, воскликнув:

— О, ваше величество, я вижу за вами Христа.

Пятница, 22 декабря.

Президент Соединенных Штатов предложил вчера всем правительствам воюющих держав сообщить „свои взгляды на условия, на которых войне мог бы быть положен конец“. Президент Вильсон подчеркивает, что он „не предлагает мира“, что он не предлагает „даже посредничества“, что он всего только зондирует почву, чтоб выяснить, далеко ли еще до столь желанной „гавани мира“.

Суббота, 23 декабря.

Сегодня утром я получил из Парижа проект ответа на американскую ноту.

Отдав должное чувствам, одушевляющим Вильсона, Бриан протестует против „уподобления“, которое как будто проводит нота между двумя группами воюющих, между тем как вся ответственность за нападение падает лишь на одну из этих групп. Затем он определяет „высшие цели“, которые поставили себе союзники. Цели эти включают: полную независимость Польши, Сербии и Черногории, со всеми возмещениями, на какие они имеют право; эвакуацию занятых территорий во Франции, в России и в Румынии, со справедливыми репарациями; реорганизацию Европы по принципу национальностей и права народов на свободное экономическое развитие; возвращение территорий, отнятых некогда у союзников силой или против воли населения; освобождение итальянцев, славян, румын, чехо-словаков; освобождение народов, страдающих под оттоманской тиранией; изгнание турок из Европы; восстановление Польши в ее национальных границах.

Час спустя я в кабинете Покровского, где я назначил свидание Бьюкенену.

Я им читаю проект Бриана. Они слушают меня с величайшим вниманием. И чем дальше я читаю, тем более оживляются их лица. Когда я кончил, оба одновременно восклицают:

— Браво, прекрасно!... Вот каким языком надо говорить... Вот что надо заявить перед всем миром!

В это время приходит мой итальянский коллега. Покровский, которому я передал копию проекта, перечитывает его вслух, смакуя каждую фразу. Карлотти горячо одобряет.

Прежде чем формулировать свое официальное и окончательное мнение, Покровский просит у меня времени на размышление. Я настаиваю, чтоб он дал мне,

по крайней мере, принципиальное согласие, которым Бриан мог бы воспользоваться перед президентом Вильсоном. В самом деле, мы очень заинтересованы в том, чтоб не оттягивать ответа для того, чтоб помешать германофильским интригам, которые лихорадочно обрабатывают американское общественное мнение.

— Ну, что же, хорошо! — говорит он мне. — Благоволите телеграфировать г. Бриану, что я, в общем, одобряю его проект и даже в восхищении от него. Но я оставляю за собой право предложить ему несколько чисто формальных изменений в параграфах, касающихся особенно близко России, например, в тех, где идет речь о Польше и Армении.

Уезжая, я беру в свой экипаж Бьюкенена. Мы озабочены и молчим. Одна и та же идея пришла нам в голову одновременно: как мы еще далеки от того, чтоб увидеть осуществление этой великолепной программы мира! Потому что, в конце концов, здесь все идет чем дальше, тем хуже.

Мы сообщаем друг другу последние известия: они прискорбны.

Земский и Городской Союзы, эти крупные частные организации, которые с начала войны так замечательно содействовали продовольствованию армии и населения, должны объединиться на съезде в Москве на будущей неделе. Полиция запретила этот съезд. Между тем, оба союза представляют все, что есть самого здорового, самого серьезного, самого активного в русском обществе. Зато влияние Протопопова дошло до апогея. Он сам возложил на себя командировку в провинцию, чтоб избежать всякого контакта с Думой и одновременно преподать губернаторам несколько благих поучений.

Один из моих друзей, который был у меня вчера и который прибыл из Москвы, рассказал мне, что там крайне раздражены против императрицы. В салонах, в магазинах, в кафе открыто заявляют, что „немка“ губит Россию и что ее надо запереть на замок, как сумасшедшую. Об императоре не стесняются говорить, что он хорошо бы сделал, если-б подумал об участи Павла I.

Понедельник, 25 декабря.

Как мне сообщил Покровский еще 16-го текущего месяца, император обращается сегодня с манифестом к своим сухопутным и морским войскам, чтоб возвестить им, что Германия предлагает мир, и чтоб еще раз подтвердить свое решение продолжать войну до полной победы.

„Час мира еще не наступил,—говорит он в манифесте.—Неприятель еще не изгнан из занятых им областей. Россия еще не осуществила задач, поставленных этой войной, т.-е. овладения Константинополем и проливами, а также восстановления свободной Польши в составе ее трех частей“.

Заключение отличается характером патетическим и индивидуальным, очень резко выделяющимся из бесцветной банальности этого рода документов:

„Мы остаемся непоколебимы в нашей уверенности в победе. Бог благословит оружие наше: он покроет его вечной славой и даст нам мир, достойный ваших славных подвигов, мои славные войска, такой мир, что будущие поколения благословят вашу святую память“.

Этот благородный и мужественный язык не преминет найти отклик в народном сознании. Он остав-

ляет во мне, однако, тревожное впечатление. Император слишком рассудителен, чтоб не отдавать себе отчета в том, что румынская катастрофа лишила его всяких шансов на приобретение Константинополя и что его народ давно отказался от мечты о Византии. В таком случае, зачем это торжественное упоминание о проекте, неосуществимость которого он знает лучше кого бы то ни было. Хотел ли он, говоря таким образом, реагировать против распространения нерасположения, усиливающегося по отношению к нему среди преданнейших слуг династии? Или же, чувствуя себя погибшим, „покинутым богом“, он хотел в последнем акте резюмировать своего рода политическое завещание, мотивы национального величия и национального достоинства, подвергшие русский народ испытанию этой войны. Я очень склонен к этой последней гипотезе.

Румыны до сих пор не в состоянии были задержать австро-германского натиска; наступление на Серет продолжается.

Среда, 27 декабря.

Конференция союзников должна собраться в Петрограде к концу января. Представителями французского правительства будут Думер, сенатор, бывший председатель совета, бывший министр иностранных дел, и генерал Кастельно.

Имея в виду инструкции, которые будут даны делегатам, я сообщаю Бриану несколько моих личных соображений. Подтвердив ему, что император попрежнему полон решимости продолжать войну, я заявляю, что постоянство его намерений не составляет, однако, для нас достаточной гарантии.

„На практике“ император беспрерывно делает ошибки. То ли он из слабости уступает настояниям императрицы; то ли у него нет ума и воли, достаточно сильных для того, чтоб справиться со своей бюрократией,— он поминутно совершает или позволяет совершать акты, противоречащие его политике.

В области внутренних дел он предоставляет управление общественным мнением министрам, заведомо скомпрометировавшим себя расположением к Германии, как г. Штюрмер и г. Протопопов, не считая очага германских интриг, которые он терпит в собственном дворце. В области экономической и промышленной он подписывает все, что ему подсовывают. А если иностранное правительство получит от него обещание, которое неприятно его администрации, последней ничего не стоит добиться утверждения решения, косвенно игнорирующего это обещание.

В военной области румынский случай типичен. Вот уже больше шести месяцев председатель Республики, король Георг, послы Франции и Англии ему повторяют, что положение на Дунае имеет решающее значение, что Россия первая заинтересована в том, чтоб пробиться к Софии, так как от этого зависит завоевание Константинополя, и пр. Он обещает все, чего просят. И на этом кончается его личное действие.

Это бессилие, или эта беззаботность по части воплощения своих идей в положительные факты, причиняет нам огромный вред. В то время, как Франция из всех сил налегает на хомут союза, Россия делает лишь половину или треть усилий, на которые она способна. Это положение тем серьезнее, что заключительная фаза войны, может быть, началась и, в таком случае,

важно знать, будет ли у России время наверстать все, что она потеряла раньше, чем решится участь Востока.

Итак, я желаю, чтобы на совещаниях предстоящей конференции делегаты правительства республики постарались заставить императорское правительство принять программу очень точную и очень подробную, которая, в некотором роде, вооружила бы императора против слабости его характера и против предательского влияния его бюрократии.

Относительно дипломатических гарантий, которыми мы, по моему, должны были бы запастись по отношению к России, вы знаете мое мнение; я не буду к нему возвращаться.

Что касается области стратегической, то нахождение генерала Гурко во главе Штаба Верховного Главнокомандующего позволяет нам надеяться, что можно будет составить план очень точный и очень обстоятельный.

Точно так же председатель совета министров, г. Трепов, облегчит нам заключение подробного соглашения по вопросам военного производства, транспорта и снабжения".

Четверг, 28 декабря.

Вот уже несколько раз меня расспрашивают о сношениях Бьюкенена с либеральными партиями и даже, серьезнейшим тоном, спрашивают меня, не работает ли он тайно в пользу революции.

И каждый раз всеми силами протестую. Во-первых, в моих ежедневных беседах с ним, таких сердечных и полных доверия, я никогда не замечал ни малейшего слова, ни малейшего намека, который по-

зволил бы мне думать, что он завел сношения с революционными вожаками. Затем, все, что мне известно о его характере, достаточно было бы, чтобы отвергнуть приписываемую ему роль. Мы завязали знакомство в 1907 г.; мы были коллегами в Софии в течение четырех лет и мы вместе пережили опасный кризис болгарской независимости; мы продолжаем здесь уже три года тесное сотрудничество: мы, значит, взаимно испытали друг друга. И я не знаю более милого человека, более совершенного джентльмена, чем Джордж Бьюкенен. Он—воплощение прямоты и лояльности; он считал бы позором для себя интриговать против монарха, при котором он аккредитован.

Старый князь В., которому я только-что говорил это, возражает мне с видом угрюмым:

— Но если его правительство приказало ему поощрять анархистов, он, ведь, должен это сделать.

Я отвечаю:

— Если бы его правительство приказало ему украсть вилку, когда он обедает у императора, вы думаете, он повиновался бы?

Обвинение, которое реакционеры направляют теперь против Бьюкенена, имеет прецедент в истории. После убийства Павла I уверяли, что заговор был составлен и организован британским правительством. Легенда скоро распространилась; несколько лет спустя это была почти официальная истина. Прибавляли даже точные подробности: посол, лорд Уитворт, лично организовал покушение и субсидировал его участников при посредстве своей возлюбленной, прекрасной Ольги Жеребцовой, сестры одного из заговорщиков, Платона

Зубова. Забывали, что лорд Уитворт побинул Россию в апреле 1800 г., т.-е. за одиннадцать месяцев до драмы...

Пятница, 29 декабря.

Земский и Городской Союзы, коих с'езд недавно был запрещен, приняли, тем не менее, втайне декларацию, которая распространяется в публике и главный пункт коей гласит:

„Наше спасение—в глубоком сознании нашей ответственности перед родиной. Когда власть становится препятствием на пути к победе, ответственность за судьбу России падает на всю страну в целом. Правительство, превратившись в орудие темных сил, ведет Россию к гибели и колеблет императорский трон. Необходимо создать правительство, достойное великого народа в один из самых серьезных моментов его истории. Пусть же Дума в решительной борьбе, начатой ею, оправдает ожидания страны. Нельзя терять ни одного дня.“

Графиня Р., проводшая три дня в Москве, где она заказывала себе платья у известной портнихи Ломановой, подтверждает то, что мне недавно сообщали о раздражении москвичей против царской фамилии:

— Я ежедневно обедала,—говорит она,—в различных кругах. Повсюду сплошной крик возмущения. Если бы царь показался в настоящее время на Красной площади, его встретили бы свистками. А царицу разорвали бы на куски. Великая княгиня такая добрая, сострадательная, чистая, не решается больше выходить из своего монастыря. Рабочие обвиняют ее в том, что она морит народ голодом... Во всех классах общества чувствуется дыхание революции...

Суббота, 30 декабря.

Около семи часов вечера превосходный осведомитель, состоящий у меня на службе сообщает мне, что сегодня ночью во время ужина во дворце Юсупова убили Распутина. Говорят, что убийцами являются: молодой князь Феликс Юсупов, женившийся в 1914 г. на племяннице царя, вел. князь Димитрий Павлович и Пуришкевич, лидер крайней правой в Думе. В ужине принимали будто участие две или три женщины из общества. Новость пока еще хранится в строгой тайне.

Прежде, чем телеграфировать в Париж, я стараюсь проверить только-что полученное сообщение.

Я тотчас отправляюсь к г-же Д. Она телефонирует своей тетке, г-же Головиной, великой приятельнице и покровительнице Распутина.

Заплаканный голос отвечает ей:

— Да, отец исчез сегодня ночью. Неизвестно, что с ним случилось... Это ужасное несчастье.

Вечером новость распространяется в Яхт-Клубе. Великий князь Николай Михайлович отказывается ей поверить:

— Десять раз уже,—говорит он,—нам об'являли о смерти Распутина. И каждый раз он воскресал могущественнее, чем когда-либо.

Он все же телефонирует председателю совета министров Трепову, который ему отвечает:

— Я знаю только, что Распутин исчез; я предполагаю, что его убили. Я не могу узнать ничего больше: дело взял в свои руки начальник „охранки“.

Воскресенье, 31 декабря.

Тело Распутина все еще не найдено.

Императрица вне себя от горя: она молила императора, находящегося в Могилеве, немедленно вернуться к ней.

Мне подтверждают, что убийцы—князь Феликс Юсупов, великий князь Димитрий и Пуришкевич. Ни одной дамы за ужином не было. Как же в таком случае заманили Распутина во дворец Юсупова?..

Судя по тому немногому, что мне известно, именно присутствие Пуришкевича сообщает драме ее настоящее значение, ее политический интерес. Великий князь Димитрий—изящный молодой человек, двадцати пяти лет, энергичный пламенный патриот, способный проявить храбрость в бою, но легкомысленный, импульсивный и впутавшийся в эту историю, как мне кажется, сгоря а. Князь Феликс Юсупов, двадцати восьми лет, одарен живым умом и эстетическими наклонностями; но его диллетантизм слишком увлекается нездоровыми фантазиями, литературными образами Порока и Смерти; боюсь, что он в убийстве Распутина видел прежде всего сценарий, достойный его любимого автора, Оскара Уайльда. Во всяком случае, своими инстинктами, лицом, манерами он походит скорее на героя „Дориана Грея“, чем на Брута или Лорензаччио.

Пуришкевич, которому перевалило за пятьдесят, напротив, человек идеи и действия. Он поборник православия и самодержавия. Он с силой и талантом поддерживает тезисы: „царь—самодержец, посланный богом“. В 1905 г. он был председателем знаменитой реакционной лиги „Союза Русского Народа“ и это он вдохновлял и направлял страшные еврейские погромы. Его участие в убийстве Распутина освещает все поведение крайней правой в последнее время; оно показывает, что сторонники самодержавия, чувствуя, чем им

грозят безумства императрицы, решили защищать императора, если понадобится, против его воли.

Вечером я пошел в Мариинский театр, где шел живописный балет Чайковского „Спящая Красавица“, с участием Смирновой.

Естественно, только и разговор, что о вчерашней драме, и так как ничего определенного не знают, русское воображение разыгрывается во всю. Прыжки, пируэты и „арабески“ Смирновой не так фантастичны, как рассказы, которые циркулируют в зале.

В первом антракте советник итальянского посольства, граф Нани Мочениго, говорит мне:

— Ну, что же, господин посол, мы, значит, вернулись к временам Парджиа?.. Не напоминает ли вам вчерашний ужин знаменитый пир в Имола?

— Аналогия отдаленная. Тут не только разница в эпохе; тут, главным образом, разница цивилизаций и характеров. По коварству и вероломству вчерашнее покушение, бесспорно, достойно сатанинского Цезаря. Но это не *bellissimo ingano*, как говорил Валенсиец. Не всякому дано величие в сладострастии и преступлении...

Понедельник, 1 января 1917 г.

Если судить лишь по созвездиям русского неба, год начинается при дурных предзнаменованиях. Я констатирую везде беспокойство и уныние; войной больше не интересуются; в победу больше не верят; с покорностью ждут самых ужасных событий.

Сегодня утром я обсуждал с Покровским проект ответа на американскую ноту о наших целях войны. Мы ищем формулу по вопросу о Польше; я указываю на то, что полное восстановление польского государ-

ства, а, следовательно, отторжение Познани от Пруссии имеет капитальное значение; мы должны, значит, громко заявить о своих намерениях. Покровский согласен в принципе, но боится обязаться из боязни дать союзникам право вмешаться в дела Польши. Я со смехом возражаю ему:

— Вы как будто заимствуете ваши аргументы у графа Нессельроде или князя Горчакова?

Он, тоже смеясь, отвечает мне:

— Дайте мне еще несколько дней, чтоб я мог освободиться от этих архаических влияний.

Затем снова сделавшись серьезным, он перечитывает вполголоса проект, который мы только что обсуждали, и серьезно добавляет:

— Все это прекрасно. Но как мы далеки от этого! Посмотрите настоящую действительность..

Я утешаю его, как могу, указывая ему на то, что наша окончательная, полная победа зависит исключительно от нашей выдержки и нашей энергии.

Глубоко вздохнув, он продолжает:

— Но посмотрите же, что здесь происходит!

По распоряжению императрицы, адъютант императора, генерал Максимович, арестовал вчера великого князя Дмитрия, который оставлен под надзор полиции в своем дворце на Невском проспекте.

Вторник, 2 января.

Тело Распутина найдено вчера в льдах Малой Невки у Крестовского острова, возле дворца Белосельского.

Императрица до последнего момента надеялась, что „бог сохранит ей ее утешителя и единственного друга“.

Полиция не разрешает печатать никаких подробностей драмы. Впрочем, „охранка“ продолжает вести следствие в такой тайне, что еще сегодня утром председатель совета министров Трепов отвечал на нетерпеливые вопросы великого князя Николая Михайловича:

— Клянусь вам ваше высочество, что все делается без меня и я ничего из следствия не знаю.

Народ, узнав третьего дня о смерти Распутина, торжествовал. Люди обнимались на улице, шли ставить свечи в Казанский собор.

Когда стало известно, что великий князь Дмитрий был в числе убийц, толпой бросились ставить свечи перед иконой св. Дмитрия.

Убийство Григория—единственный предмет разговора в бесконечных хвостах женщин, в дождь и ветер ожидающих у дверей мясных и бакалейных лавок распределения мяса, чая, сахара и пр.

Они друг дружке рассказывают, что Распутин был брошен в Неву живым и одобряют это пословицей: „собаке собачья смерть“.

Другая народная версия: „Распутин еще дышал, когда его бросили под лед в Неву. Это очень важно, потому что он, таким образом, никогда не будет святым“...

В русском народе держится поверье, что утопленники не могут быть причислены к лику святых.

Среда, 3 января.

Лишь только тело Распутина вытащили из Невы оно было таинственно увезено в Убежище ветеранов Чесмы, расположенное в пяти километрах от Петрограда по дороге в Царское Село.

Осмотрев труп и констатировав следы ран, профессор Косоротов ввел в залу, где производилось вскрытие, сестру Акулину, молодую послушницу, с которой Распутин познакомился когда-то в Октайском монастыре, где он изгнал из нее беса. По письменному повелению императрицы, она, с одним только больничным служителем, приступила к последнему одеванию трупа. Кроме нее, никого к покойному не допустили: его жена, дочери, самые горячие его поклонницы тщетно умоляли разрешить им видеть его в последний раз.

Бывшая одержимая, благочестивая Акулина, провела половину ночи за омовением тела, наполнила его раны благовониями, одела в новые одежды и положила в гроб. В заключение она положила ему на грудь крест, а в руки вложила письмо императрицы.. Вот текст этого письма, как мне его сообщила г-жа Т., приятельница „старца“, очень дружившая с сестрой Акулиной:

„Мой дорогой мученик, дай мне твое благословение, чтоб оно постоянно было со мной на скорбном пути, который остается мне пройти здесь на земле. И помяни нас на небесах в твоих святых молитвах.

Александра“.

Утром на следующий день, т.-е. вчера, императрица и г-жа Вырубова пришли помолиться над прахом друга, который они засыпали цветами, иконами и причитаниями.

Сколько раз во время моих поездок в Царское Село проезжал я мимо Чесменского приюта (бывшей летней резиденции Екатерины II), который с дороги виден сквозь деревья. В это время года в своем зимнем уборе, на беспредельной туманной и холодной рав-

нине,—место зловещее и унылое. Это как раз подходящая декорация для вчерашней сцены. Императрица и ее зловещая подруга, в слезах перед распухшим трупом развратного мужика, которого они так безумно любили и которого Россия будет проклинать вечно,—много ли создал великий драматург—история более патетических эпизодов?

Около полуночи гроб перенесли в Царское Село, под руководством г-жи Головиной и полковника Ломана, затем его поставили в часовне в императорском парке.

Четверг, 4 января.

Сделал визит Коковцеву в его корректном и методическом апартаменте на Моховой.

Никогда еще бывший председатель совета министров, пессимизм которого столько раз оправдывался, не формулировал при мне таких мрачных предсказаний. Он предвидит в близком будущем либо дворцовый переворот, либо революцию.

— Я уже очень давно не видел его величество. Но у меня есть очень близкий друг, который часто видит императора и императрицу и который работал с императором последние дни. Впечатления, сообщенные мне этим другом, грустные. Императрица с виду спокойна, но молчалива и холодна. У императора глухой голос, впалые щеки, недобрый взгляд; он с горечью говорит о членах государственного совета, которые, твердя о своей верности самодержавию, позволили себе обратиться к нему с заявлением; он решил, поэтому, сменить председателя и товарища председателя этого высокого собрания, полномочия коих истекают 1 (14-го) января, но которые обычно остаются на

своих постах... Раздражение императора против государственного совета усердно раздувается императрицей, которую уверили, что некоторые члены крайней правой государственного совета говорили о расторжении ее брака с царем и о заключении ее в монастырь. Теперь я вам по секрету скажу: был у меня сегодня утром Трепов и заявил мне, что он больше не хочет нести ответственность за власть и что он просил императора освободить его от обязанностей председателя совета министров. Вы понимаете, что у меня есть основание беспокоиться.

— В конечном счете,—сказал я,—настоящий конфликт принимает все больше характер конфликта между самодержцем и естественными, присяжными защитниками самодержавия. Неужели вы полагаете, что, если император не уступит, мы снова будем свидетелями трагедии Павла I?

— Боюсь, что так.

— А левые партии, как они будут на это реагировать?

— Левые партии (я имею в виду думские фракции) останутся, вероятно, в стороне; они знают, что дальнейшие события могут принять лишь благоприятный для них оборот, и они будут ждать. А что касается народных масс, это другой вопрос.

— Неужели вы уже предвидите их выступление?

— Не думаю, чтобы было довольно проявлений текущей политики или даже дворцового переворота для того, чтоб поднять народ. Но восстание вспыхнет немедленно в случае военного поражения или голодного кризиса.

Я сообщаю Коковцеву, что я намерен просить у императора аудиенции:

— Официально я буду иметь возможность говорить только о делах дипломатических. Но, если я увижу, что он доверчиво настроен, я попытаюсь перевести разговор на почву внутренней политики.

— Ради бога, скажите ему все, без колебаний.

— Я буду говорить по существу, если он согласится меня выслушать. Если он станет уклоняться, я ограничусь тем, что дам ему понять, как меня беспокоит все, что происходит и о чем я не имею права ему сказать.

— Может быть, вы правы. В том настроении, в каком находится император, к нему надо подходить осторожно; но я знаю, что он расположен к вам, и поэтому меня не удивило бы, если бы он говорил с вами с известной откровенностью.

С тех пор, как великий князь Димитрий находится под арестом в своем дворце на Невском проспекте, его друзья боятся за его личную безопасность. На основании сведений, коих источник мне неизвестен, они боятся, что министр внутренних дел Протопопов решил убить его с помощью караулящих его полицейских. Махинация, подготовленная „охранкой“, состоит будто бы в том, что будет симулирована попытка к побегу; полицейский сделает вид, будто подвергся угрозам со стороны великого князя и вынужден был употребить оружие для самозащиты.

На всякий случай председатель совета министров послал генералу Хабалову приказ поставить во дворце великого князя караул из солдат пехоты. Впредь на каждого полицейского будет приходиться, таким образом, по часовому, который будет за ним наблюдать.

Пятница, 5 января.

Чтобы сбить со следа гипотезы и поиски всеобщего любопытства, „охранка“ распускает слух, что гроб Распутина был перевезен в село Покровское возле Тольска, не то в какой-то монастырь на Урале.

В действительности погребение происходило очень секретно прошлой ночью в Царском Селе.

Гроб был погребен под иконостасом строящейся часовни на опушке императорского парка, возле Александровска—часовни св. Серафима.

Присутствовали только император, императрица, четыре молодые великие княгини, Протопопов, г-жа Вырубова, полковник Ломан и Мальцев, наконец, совершавший отпевание придворный протоиерей отец Васильев.

Императрица потребовала себе окровавленную рубашку „мученика Григория“ и благовейно хранит ее, как реликвию, как палладиум, от которого зависит участь династии.

В тот же день вечером крупный промышленник Богданов давал у себя обед, на котором присутствовали: члены императорской фамилии, князь Гавриил Константинович, несколько офицеров, в том числе граф Капнист, адъютант военного министра, член государственного совета Озеров и несколько представителей крупного финансового капитала, в том числе Путилов.

За обедом, который был очень оживлен, только и было разговоров, что о внутреннем положении. Под влиянием шампанского его изображали в самых мрачных красках с любезным русскому воображению чрезмерным пессимизмом.

Обращаясь к князю Гавриилу, Озеров и Путилов говорили, что, по их мнению, единственное средство

спасти царствующую династию и монархический режим это—собрать всех членов императорской фамилии, лидеров партий Государственного Совета и Думы, а также представителей дворянства и армии, и торжественно объявить императора ослабевшим, не справляющимся со своей задачей, неспособным дольше царствовать и возвестить воцарение наследника под регентством одного из великих князей.

Несколько не протестуя, князь Гавриил ограничился тем, что формулировал несколько возражений практического характера; тем не менее, он обещал передать своим дядюшкам и двоюродным братьям то, что ему сказали.

Вечер закончился тостом „за царя, умного, сознающего свой долг и достойного своего народа“.

Император отказался принять отставку Трепова, без единого слова объяснения.

Вечером я узнал, что в семье Романовых великие тревоги и волнение.

Несколько великих князей, в числе которых мне называют трех сыновей великой княгини Марии Павловны: Кирилла, Бориса и Андрея, говорят ни больше, ни меньше, как о том, чтобы спасти царизм путем дворцового переворота. С помощью четырех гвардейских полков, которых преданность уже поколеблена, двинутся ночью на Царское Село; захватят царя и царицу; императору докажут необходимость отречься от престола; императрицу заточат в монастырь; затем объявят царем наследника Алексея, под регентством великого князя Николая Николаевича.

Инициаторы этого плана полагают, что великого князя Дмитрия его участие в убийстве Распутина делает самым подходящим исполнителем, способным увлечь

войска. Его двоюродные братья, Кирилл и Андрей Владимировичи, пришли к нему в его дворец на Невском проспекте и изо всех сил убеждали его „довести до конца дело народного спасения“. После долгой борьбы со своей совестью, Дмитрий Павлович в конце концов отказался „поднять руку на императора“; его последним словом было: „я не нарушу своей присяги в верности“.

Гвардейские части, в которых организаторы успели завязать сношения: Павловский полк, расквартированный в казармах на Марсовом поле, Преображенский полк, в казармах у Зимнего дворца, Измайловский полк, в казармах у Обводного канала, гвардейские казаки, в казармах за Александро-Невской Лаврой, и, наконец, один эскадрон императорского гусарского полка, входящего в состав гарнизона Царского Села.

Все происходившее в казармах почти тотчас стало известно „охранке“, и Белецкому поручено было начать расследование в связи с следствием, которое он производит по делу Распутина; главным его сотрудником в его розысках является жандармский полковник Невданов, начальник собственной его величества охраны, недавно заменивший генерала Спиридовича.

Суббота, 6 января.

Об убийстве Распутина продолжают циркулировать самые противоречивые, самые фантастические версии. Тайна тем глубже, что с первой же минуты императрица поручила вести следствие лично знаменитому Белецкому, бывшему директору департамента полиции, теперь сенатору; он тотчас принялся за дело с начальником „охранки“, жандармским генералом Глобачевым, и его расторопным помощником, полковником Кирпич-

никовым. Требуя, чтобы все полномочия для ведения следствия были сосредоточены в руках Белецкого, императрица усиленно повторяла: „я только ему доверяю; я поверю лишь тому, что мне скажет он, один он...“

Из двух различных источников, из коих один очень интимный, я получил в общем итоге сведения, дающие мне возможность восстановить главные фазы убийства. Меня уверяют, что эти подробности совпадают с фактами, установленными в настоящее время полицейским следствием.

Драма произошла в ночь с 29 на 30 декабря во дворце князя Юсупова, на Мойке, дом № 94.

До того у Феликса Юсупова были с Распутиным лишь весьма неопределенные отношения. Чтоб заманить его к себе в дом, князь прибег к довольно неэлегантному стратегическому приему. 28 декабря он отправился к „старцу“ и сказал ему:

— Моя жена, прибывшая из Крыма, безумно хочет с тобой познакомиться. И она хотела бы видеть тебя совершенно интимно, чтобы спокойно поговорить с тобой. Не хочешь ли ты завтра придти ко мне домой выпить чашку чаю? Приходи попозже, так в половине двенадцатого, потому что у нас будет обедать моя теща, но к этому времени она уже, наверное, уйдет.

Надежда завязать знакомство с очень красивой княгиней Иреной, дочерью великого князя Александра Михайловича и племянницей императора, тотчас соблазнила Распутина, и он обещал придти. Княгиня Ирена, впрочем, вопреки утверждению Юсупова, находилась еще в Крыму.

На следующий день 29 декабря, около 11 часов вечера, все заговорщики собрались во дворце Юсупова, в одном из салонов верхнего этажа, где был сервиро-

ван ужин. Князя Феликса окружали: великий князь Дмитрий, депутат Государственной Думы Пуришкевич, капитан Сухотин и польский врач, доктор Станислав Лазоверт, прикомандированный к одной из крупных военно-санитарных организаций. Что бы ни рассказывали, никакой оргии в этот вечер во дворце Юсупова не было; в обществе не было ни одной женщины: ни княгини Р., ни г-жи Д., ни графини П., ни танцовщицы Корелли.

В четверть двенадцатого князь Феликс отправился в автомобиле к Распутину, который живет на Гороховой, № 68, приблизительно в двух километрах от Мойки.

Юсупов ощупью поднялся по лестнице, ведущей в квартиру Распутина, так как свет в доме был уже погашен, а ночь была очень темная. В этом мраке он плохо ориентируется. В тот момент, когда он звонит, он боится, что ошибся дверью, может быть, этажом. Тогда он мысленно произносит; „если я ошибусь, значит, судьба против меня—и Распутин должен жить“.

Он звонит, сам Распутин открывает ему дверь; за ним следует его верная служанка Дуня.

— Я за тобой, отец, как было условлено. Моя машина ждет внизу.

И в порыве сердечности, по русскому обычаю, звонко целует старца в губы.

Тот, охваченный инстинктивным недоверием, насмешливо восклицает:

— Ну, и целуешь же ты меня, малый... Надеюсь, это не иудино лобзание... Ну, пойдем. Ступай вперед... Прощай, Дуня!

Через десять минут, т. е. около полуночи, они вышли из автомобиля у дворца на Мойке.

Юсупов вводит своего гостя в небольшой аппарат-мент нижнего этажа, выходящий в сад. Великий князь Димитрий, Пуришкевич, капитан Сухотин и доктор Лазоверт ожидают в верхнем этаже, откуда доносятся время от времени звуки граммофона, исполняющего мотивы танцев.

Юсупов говорит Распутину:

— Моя теща и несколько наших знакомых молодых людей еще наверху, но все они собираются уходить. Моя жена сойдет к нам тотчас после их ухода... Сядем.

Они усаживаются в широкие кресла и беседуют об оккультизме, некромантии.

„Старец“ никогда не нуждается в стимуле, чтоб разглагольствовать без конца о подобных вещах. К тому же он в этот вечер в ударе; глаза его блестят, и он кажется очень довольным самим собой. Чтоб предстать пред молодой княгиней Иреной во всеоружии всех своих средств обольщения, он надел свой лучший костюм, костюм знаменательных дней: на нем широкие черные бархатные шаровары, запущенные в высокие сапоги; белая шелковая рубаша, украшенная голубой вышивкой; наконец, пояс из черного сатина, расшитый золотом, подарок царицы.

Между креслами, в которых развалились Юсупов и его гость, заранее поставлен был круглый стол, на котором размещены на двух тарелках пирожные с кремом, бутылка марсалы и поднос с шестью стаканами.

Пирожные, поставленные возле Распутина, были отравлены цианистым калием, доставленным врачом Обуховской больницы, знакомым князю Феликсу.

Каждый из трех стаканов, стоящих возле этих пирожных, содержит по три центиграмма цианистого

калия, растворенного в нескольких каплях воды; как ни слабой кажется эта доза, она, однако, огромна, потому что уже доза в четыре центиграмма смертельна.

Едва началась беседа, Юсупов небрежно наполняет по стакану из каждой серии и берет пирожное с ближайшей к нему тарелки.

— Ты не пьешь, отец, Григорий?—спрашивает он „старца“.

— Нет, мне пить не хочется.

Они продолжают довольно оживленно беседовать о чудесах спиритизма, колдовства и ворожбы.

Юсупов еще раз предлагает Распутину выпить вина, с'есть пирожное. Новый отказ.

Но, когда часы пробили час утра, Гришка внезапно приходит в раздражение и грубо кричит:

— Да что же это? Жена твоя не придет... Я, знаешь, ждать не привык. Никто не позволяет себе заставлять меня ждать, никто... даже императрица.

Зная, как вспыльчив Распутин, князь Феликс примирительно лепечет:

— Если Ирены не будет здесь через несколько минут, я пойду за ней.

— Ты хорошо сделаешь, потому что мне становится здесь скучно.

С непринужденным видом, но сдавленной глоткой, Юсупов пытается возобновить беседу. „Старец“ неожиданно выпивает свой стакан. И, щелкнув языком, говорит:

— Марсала у тебя знатная. Я бы еще выпил.

Машинально Юсупов наполняет не тот стакан, который протягивает ему Гришка, а два других, содержащих цианистый калий.

Распутин хватает стакан и выпивает его единым духом. Юсупов ждет, что жертва свалится в обмороке. Но яд все не оказывает действия.

Третий стакан. Все никакого эффекта.

Обнаруживавший до этого момента замечательное хладнокровие и непринужденность убийца начинает волноваться. Под предлогом, будто он идет за Иреной, он выходит из салона и подымается на верхний этаж, чтобы посоветоваться со своими сообщниками.

Совещание было непродолжительное. Пуришкевич энергично высказывается за ускорение развязки.

— Не то, — заявляет он, — негодяй уйдет от нас. И так как он, по крайней мере, наполовину отравлен, мы подвергнемся всем последствиям убийства, не получив от него никакой выгоды.

— Но у меня нет револьвера, — возражает Юсупов.

— Вот мой револьвер, — отвечает великий князь Дмитрий.

Юсупов, держа за спиной в левой руке револьвер, возвращается вниз.

— Моя жена в отчаянии, что заставляет тебя ждать, — говорит он: — ее гости только-что ушли, она сейчас будет здесь.

Но Распутин едва слушает его; отдуваясь и рыгая, он мечется взад и вперед. Цианистый калий подействовал.

Юсупов не решается, однако, воспользоваться своим револьвером. А если он промахнется!... Хрупкий и изнеженный, он боится открыто напасть на коренастого мужика, который мог бы раздавить его одним ударом кулака. Однако, нельзя терять больше ни одной минуты. С секунды на секунду Распутин может заметить, что попал в ловушку, схватить своего противника за горло и спастись, переступив через его труп.

Совершенно овладев собой, Юсупов говорит:

— Так как ты на ногах, пройдем в соседнюю комнату. Я хочу показать тебе очень красивое итальянское распятие эпохи Ренессанса, которое я давно купил.

— Да, покажи его мне; никогда нелишнее посмотреть изображение нашего распятого Спасителя.

Они заходят в соседнюю комнату.

— Вот посмотри, вот здесь, на этом столе,—сказал Юсупов:—не правда-ли красиво?

И в то время, как Распутин склоняется над святым изображением, Юсупов становится слева и, почти в упор, два раза стреляет ему в бок.

Распутин издает:

— Ах!

И всей своей массой падает на пол.

Юсупов наклоняется над телом, щупает пульс, осматривает глаз, подняв веко, и не констатирует никаких признаков жизни. На выстрел быстро сходят оставшиеся наверху сообщники. Великий князь Дмитрий заявляет:

— Теперь надо поскорее бросить его в воду... Я пойду за своим автомобилем.

Его спутники снова поднимаются на верхний этаж, чтоб сговориться, как увести труп.

Минут через десять Юсупов заходит в салон нижнего этажа посмотреть на свою жертву и отступает в ужасе.

Распутин, опираясь на руки, наполовину поднялся. В последнем усилии он выпрямляется, опускает свою тяжелую руку на плечо Юсупова и срывает с него ополету, выдохнув замирающим голосом:

— Негодай!.. Завтра ты будешь повешен! Потому что я все расскажу императрице!

Юсупов с трудом вырывается, выбегает из салона, возвращается на верхний этаж. И бледный, залитый кровью, кричит прерывающимся голосом своим сообщникам:

Он еще жив... Он со мной говорил...

Затем он в обмороке падает на диван. Пуришкевич хватает его своими сильными руками, встряхивает, поднимает, берет у него его револьвер и вместе с ним и остальными заговорщиками сходит в аппаратмент нижнего этажа.

Распутина нет уже больше в салоне. У него хватило энергии открыть дверь в сад и он ползет по снегу.

Пуришкевич выпускает одну пулю ему в затылок и другую в спину, а в это время Юсупов, взбешенный, рыча, бежит за бронзовым канделябром и наносит им жертве несколько страшных ударов по черепу.

Четверть третьего утра.

В этот момент к садовой калитке под'езжает автомобиль великого князя Дмитрия. С помощью надежного слуги заговорщики одевают Распутина в шубу, надевают ему даже галоши, чтобы во дворце не осталось никаких вещественных доказательств, и кладут тело в автомобиль, в который торопливо садятся: великий князь Дмитрий, доктор Лазоверт и капитан Сухотин.

Затем, автомобиль, под управлением Лазоверта, полным ходом несется к Крестовскому.

Накануне капитан Сухотин обследовал берега. По его указанию, автомобиль останавливается у небольшого моста, ниже которого скоростью течения нагромождены

были льдины, разделенные полыньями. Там не без труда трое сообщников подносят тяжеловесную жертву к краю проруби и сталкивают труп в воду. Но физическая трудность операции, густой ночной мрак, пронзительное завывание ветра, страх быть захваченными врасплох, нетерпение покончить со всем,—до крайности напрягают их нервы, и они не замечают, как, сталкивая труп за ноги, они уронили одну галошу, которая затем осталась на льду; три дня спустя нахождение этой галоши открыло полиции место погружения трупа в воду.

В то время, как на Крестовском острове совершалась эта погребальная работа, происходил инцидент во дворце на Мойке, где князь Феликс и Пуришкевич, оставшиеся там одни, заняты были поспешным уничтожением следов убийства.

Когда Распутин покинул свою квартиру на Горькой, агент „охранки“ Тихомиров, которому обычно поручалась охрана „старца“, тотчас перенес свое дежурство к дворцу Юсупова. Начало драмы, конечно, ускользнуло от его внимания.

Но, если он не мог слышать первых револьверных выстрелов, ранивших Распутина, он явственно слышал выстрелы в саду. Встревоженный, он поспешил предупредить полицейского пристава соседнего участка. Вернувшись, он видел, как из ворот дворца Юсупова выехал автомобиль и с бешеной скоростью помчался к Синему мосту.

Пристав хочет войти во дворец, но дворецкий князя, принимая его на пороге, говорит ему:

— То, что произошло, вас не касается. Его императорское высочество великий князь Димитрий доложит завтра кому следует. Уходите.

Энергичный пристав проникает в дом. В вестибюле он натывается на Пуришкевича, который заявляет ему:

— Мы только-что убили человека, позорившего Россию.

— Где труп?

— Этого вы не узнаете. Мы поклялись сохранить абсолютную тайну обо всем, что произошло.

Пристав поспешно возвращается в участок на Морской и телефонирует полицеймейстеру 2-й части, полковнику Григорьеву. Не прошло получаса, как градоначальник генерал Балк, командующий отдельным корпусом жандармов генерал граф Татищев, начальник „охранки“, генерал Глобачев, наконец, директор департамента полиции Васильев прибыли в Юсуповский дворец.

Воскресенье, 7 января.

Покровский об'явил мне вчера, что император примет меня сегодня в шесть часов, и добавил:

Умоляю вас говорить с ним откровенно, без недомолвок... Вы можете оказать нам большую услугу.

— Если император сколько-нибудь расположен будет выслушать меня, я скажу ему все, что накопило у меня на сердце. Но в том настроении, в котором он, как мне известно, находится, моя задача будет нелегка.

— Да вдохновит вас бог!

— Надо еще, чтобы богу представили случай вдохновить меня.

Немного раньше шести часов церемониймейстер Теллов, сопровождавший меня от Петрограда в императорском поезде, вводит меня в царскосельский дворец. Гофмаршал князь Долгоруков и дежурный ад'ютант принимают меня на пороге первого салона.

Придя в библиотеку, за которой находится кабинет императора и где дежурный эфиоп застыл на часах, мы разговариваем минут десять. Мы говорим о войне и о том, что она еще долго будет продолжаться; мы выражаем уверенность в конечной победе; мы признаем необходимость заявить себя более, чем когда-либо решившимися уничтожить германское могущество и пр. Но твердые заявления моих собеседников опровергаются мрачным и беспокойным выражением их лиц, немым советом, который я читаю в их глазах: „ради бога, говорите откровенно с его величеством“.

Эфиоп открывает дверь.

Лишь только я вошел, меня поражает утомленный вид императора, напряженное и озабоченное выражение его лица.

— Я просил, ваше величество, принять меня,—говорю я,—потому что я всегда находил у вас много утешения, а я очень нуждаюсь в этом сегодня.

Голосом без тембра, голосом, какого я не знал у него, он отвечает мне:

— Я попрежнему полон упорной решимости продолжать войну до победы, до решительной и полной победы. Вы читали мой последний приказ армии?

— Да, конечно, и я был восхищен уверенностью и непоколебимой энергией, которыми дышит этот документ. Но какая пропасть между этим блестящим заявлением вашей самодержавной воли и реальными фактами.

Император недоверчиво смотрит на меня. Я продолжаю:

— В этом приказе вы заявляете о вашей непреклонной решимости завоевать Константинополь. Но как доберутся до него ваши войска? Не пугает ли

вас то, что происходит в Румынии?... Если отступление румынских войск не будет немедленно остановлено, они скоро должны будут очистить всю Молдавию и отступить за Пруг и даже за Днестр. И не бойтесь ли вы, что при этом случае Германия образует в Бухаресте временное правительство, возведет на трон другого Гогенцоллерна и заключит мир с восстановленной таким образом Румынией?

— Это, действительно, перспектива очень тревожная. И я делаю все возможное, чтобы увеличить армию генерала Сахарова; но затруднения переброски и снабжения огромны. Тем не менее, я надеюсь, что дней через десять мы в состоянии будем возобновить наступление в Молдавии.

— Ах... дней через десять! А 31 пехотная дивизия и 12 кавалерийских дивизий, которые требовал генерал Сахаров, уже на фронте?

Он отвечает мне уклончиво:

— Не могу вам сказать, я не помню. Но у него уже много войск, много... И я пошлю еще много других, много...

— В скором времени?

— Да, надеюсь,

Разговор тянется вяло. Мне не удается больше остановить ни взгляда императора, ни его внимания. Мне кажется, мы за тысячу лье друг от друга.

Тогда я пускаю в ход великий аргумент, который всегда оказывался такой силой и открывал передо мной двери его мысли: я взываю к памяти его отца Александра III, перед портретом которого мы ведем беседу.

— Государ. Вы мне часто говорили, что в тяжелые моменты вы апеллировали к вашему любезному

отцу и что просьба ваша никогда не оставалась тщетной. Пусть же теперь вдохновит вас его благородная душа. Обстоятельства так серьезны.

— Да, воспоминание о моем отце для меня большая помощь.

И на этой неопределенной фразе он снова прекращает разговор.

Я продолжаю, сделав жест уныния:

— Государь, я вижу, что я выйду из этого кабинета гораздо более встревоженным, чем я вошел сюда. Впервые я не чувствую себя в контакте с вашим величеством.

Он дружески протестует:

— Но вы пользуетесь моим полным доверием. Нас связывают такие воспоминания. И я знаю, что я могу рассчитывать на вашу дружбу.

— Именно в силу этой дружбы вы и видите меня полным печали и тоски; ибо я сообщил вам лишь меньшую часть моих опасений. Есть сюжет, о котором посол Франции не имеет права говорить с вами; вы догадываетесь, какой. Но я был бы недостойн доверия, которое вы всегда мне оказывали, еслибы я скрыл от вас, что все симптомы, поражающие меня вот уж несколько недель, растерянность, которую я наблюдаю в лучших умах, беспокойство, которое я констатирую у самых верных ваших подданных, внушают мне страх за будущее России.

— Я знаю, что в петроградских салонах сильно волнуются.

И, не дав мне времени подхватить эти слова, он спрашивает меня с равнодушным видом:

— Как поживает наш друг, царь болгарский?

Холоднейшим официальным тоном я отвечаю:

— Государь, уже много месяцев я не имею о нем никаких известий.

И я умолкаю.

С своей обычной застенчивостью и неловкостью император не находит, что сказать. Тяжелое молчание тяготит нас обоих. Однако, он не отпускает меня, не желая, без сомнения, чтобы я расстался с ним под неприятным впечатлением. Мало-по-малу его лицо смягчается и озаряется меланхолической улыбкой. Мне жаль его, и я спешу помочь его бессловесности. На столе, возле которого мы сидим, я увидел около дюжины роскошно переплетенных томов с шифром Наполеона I:

— Ваше величество оказали послу Франции деликатное внимание, окружив себя сегодня этими книгами. Наполеон—великий учитель, с которым следует советоваться в критических обстоятельствах; это—человек, более всех одолевший судьбу.

— И у меня культ к нему.

Я удерживаю готовую сорваться с моих губ реплику: „О! очень платонический культ“. Но император встает и проводит меня до дверей, долго удерживая, с дружелюбным видом, мою руку. Пока императорский поезд отвозит меня обратно в Петроград, сквозь снежную метель, я резюмирую в уме воспоминания об этой аудиенции. Слова императора, его молчание, его недомолвки, серьезное и сосредоточенное выражение его лица, его неуловимый и далекий взгляд, замкнутость его мысли, все смутное и загадочное в его личности, утверждают меня в мысли, которая уже несколько месяцев не оставляет меня, а именно: что император чувствует себя подавленным и побежденным событиями,

что он больше не верит ни в свою миссию, ни в свое дело; что он, так сказать, отрекся внутренне; что он уже примирился с мыслью о катастрофе и готов на жертву. Его последний приказ войскам, его гордое требование Польши и Константинополя были лишь, как я сначала и предчувствовал, своего рода политическим завещанием, последним заявлением славной мечты, которую он лелеял для России и гибель которой он констатирует в настоящее время.

Понедельник, 8 января.

Великий князь Димитрий, по высочайшему повелению, отправлен в Персию, в Казвин, где он будет состоять при главном штабе одной из действующих армий. Князь Феликс Юсупов выслан в свое имение в Курскую губ. Что касается Пуришкевича, то престиж, которым он пользуется среди крестьян, влияние его в реакционной партии, как одного из вождей „черных сотен“, привели императора к мысли, что его опасно было бы трогать; он оставлен на свободе, но на следующий день после убийства уехал на фронт, где за ним следит военная полиция.

Мысль убить Распутина возникла в уме Феликса Юсупова, повидимому, в середине ноября. Около этого времени он говорил об этом с одним из лидеров кадетской партии, блестящим адвокатом Василием Маклаковым; но тогда он рассчитывал убить „старца“ при помощи наемных убийц, а не действовать лично. Адвокат благоразумно отговорил его от этого способа: „негодяи, которые согласятся убить Распутина за плату, едва получив от вас задаток, пойдут продать вас „охранке“...“

Пораженный Юсупов спросил: „Неужели нельзя найти надежных людей?“—на что Маклаков остроумно ответил: „Не знаю, у меня никогда не было бюро убийц“.

2 декабря Фелике Юсупов окончательно решился действовать лично.

В этот день он был на открытом заседании Думы и сидел в ложе против трибуны. На трибуну только что поднялся Пуришкевич и громил в страшном обвинительном акте „темные силы, позорящие Россию“. Когда оратор воскликнул перед взволнованной аудиторией: „Встаньте, господа министры, поезжайте в Ставку, бросьтесь к ногам царя, имейте мужество сказать ему, что растет народный гнев и что не должен темный мужик дальше править Россией“... Юсупов затрепетал от сильного волнения. Г-жа П., сидевшая возле него, видела, как он побледнел и задрожал.

На следующий день, 3 декабря, он отправился к Пуришкевичу. Взяв с него слово сохранить все в абсолютной тайне, он рассказал ему, что ведет с некоторого времени знакомство с Распутиным с целью проникнуть в интриги, которые затеваются при Дворе, и что он не останавливался ни перед какой лестью, чтоб свискать доверие Распутина. Ему это чудесно удалось, так как он только-что узнал от самого „старца“, что сторонники царицы готовятся свергнуть Николая II, что императором будет объявлен царевич Алексей под регентством матери и что первым актом нового царствования будет предложение мира германским империям. Затем видя, что его собеседник ошеломлен этим разоблачением, он открыл ему свой проект убить Распутина и заключил: „Я хотел бы иметь возможность рассчитывать на вас, Владимир Митрофанович, чтобы осво-

бодить Россию от страшного кошмара, в котором она мечется". Пуришкевич, у которого пылкое сердце и скорая воля, с восторгом согласился. В один момент составили они программу засады и установили для выполнения ее дату: 29 декабря.

Делегаты Франции, Англии и Италии на конференции союзников должны на этих днях выехать в Петроград. Бьюкенен, Карлотти и я советуем своим правительствам отложить их от'езд. Бесполезно подвергать их утомлению и риску путешествия по арктическим морям, если они найдут здесь потерявшее почву правительство.
